

Любовь Колесник

Ржевская битва

* * *

Ржев — роспись белого фарфора,
легка художника рука.
Висят над памятью собора
сиреневые облака.
Взвоз в обрамлении чугунном,
мосты, меж ними ледостав.
Звонит мороз по лёгким струнам
сухих и безымянных трав.
Никто не думает о смерти,
на ветках снега бахрома.
А в том проклятом сорок третьем
была такая же зима.

* * *

14 октября — день начала оккупации Ржева

Стоял Покров. Седой была трава.
Прозрачным льдом затягивались броды.
Дышали бабы детям в рукава,
крестясь на облака и самолёты.
Студёный ветер нёс горелый прах.
Калина индевела за калиткой,
и ягодная горечь на губах
была ещё одной немой молитвой:
«А вдруг он выжил в месиве фронтов...»

Качала лодки медленная Волга,
качали колыбели руки вдов,
и яблоня кровила от осколка.
Гноился глиной ледяной окоп
на месте сада; в горло било сердце,
как в землю заступ. Пот стекал на лоб.
И кто-то вдруг сказал:
— Смотрите, немцы.

* * *

Никто не знает имён этих серых трав,
имён солдат, их выкормивших собой.
Тут смерть бесновалась между соборных глав,
Здесь ад был — в маленьком городе под Москвой.

Пугая птиц, оробевших на берегах,
хрипел и рявкал бешеный миномёт,
и каждый солдат, затыкая за пояс страх,
шептал, что он — ни в коем случае не умрёт,
домой полетит треугольник, а не квадрат,
и враг подавится волжской водой и льдом.
Но спал на брате окаменелый брат,
шепча о памяти вечной кровавым ртом.

Но памяти нет, а мёртвые не умрут.
Стоит, стережёт застывший в снегу пустырь
храм, артиллерией вбитый по горло в грунт,
как безымянный каменный богатырь.

* * *

снег наступает на москву
как немец на москву
и доннерветер холодит
озябшую трубу
на муттер волге чёрный лёд
и белый снег на льду
ребро гармошки холодит
озябшую губу
а где-то русские гудят
и валенки скрипят
а где-то русские не спят
и горькую едят
и говорят — иду на вы
и не идут на вы
а снег уходит от москвы
как немец от москвы

* * *

Сквозь зубы, как конь, потягивал чемергез,
кивал, говорил: прости ты меня, прости.
Луны порез на небе; сбежать бы в лес —
топтать заболотный дол, кровавой настил,

без памяти сквозь чапыжник, через ольху,
в невидимой крови берёзовые стволы,
не видя знакомые лица ничком во мху,
кого при атаке свинцовый огонь свалил.

И снова не шёл, плескал в алюминь, кивал —
щербатые тени верёвками на кадык.
В далёком лесу расцветёт одолень-трава,
её приложить, и всё делается как дым,

её заварить да выпить, и всё не так —
страшнее, чем есть — не должно и не может быть.
За небом, болотом и лесом дымится танк,
и выживший пьёт и просит его простить.

* * *

3 марта — день освобождения Ржева

В синем марте холодно, как в аду.
В церкви детский плач, выноси святых.
Накормить бы всех, приложить к кресту...
Ни креста, ни хлеба.
Вдали затих
грохот бронетанковый, смертный бой,
и такая встала до звона тишь —
непонятно, умер или живой.
По взрывчатке ходит дурная мышь —
или от шинели горелый клочок
ветром пошевеливает слегка.
Страшной сажей вымазан белый бок
в церковь залетевшего голубка —
он по-человечески присмирел,
как по-человечески умирал.
— Правда, не ревь уже артобстрел!
Слышишь, не реви уже!

Отпирал
их солдатик лет, может, двадцати,
длинный, как коломенская верста.
Не герой и даже не командир
им похожим виделся на Христа.
Это было уймищу лет назад,
может, и в живых никого из них.
Ржевский синий март и горелый ад
затянулся жизнью и подзатих.
Над Покровской церковью — стужи свист.
Я с гвоздикой рядышком притулюсь.
Атеист я, бабушка, аметист.
Но сегодня, кажется, помолюсь.

* * *

Где-то в ржевской земле он лежит, мой ненайденный прадед,
 где сомкнулись леса над домами пустых деревень.
 Престарелая яблоня в землю вросла в палисаде,
 как старуха, которая стала — сама себе тень,

как бабуля моя.

Поджидала погибшего папку
 худосочная девочка послевоенной поры.
 «Ну, куда ты, застудишься? Нет его! На тебе шапку...»
 Не хотела, не слушала, плакала горько, навзрыд

и бежала, бежала, туда, за околицу, дальше.
 В позапрошлом году она в семьдесят три умерла,
 а деревня её умерла незаметней и раньше.
 Салютуют беззвучно четыре печные ствола

в невесёлое небо над маленьким городом Ржевом,
 горизонт трассировкой рассвета навьлет прошит.
 Где-то в этом суглинке, где было кровавое жерло,
 мой ненайденный прадед, меня уберёгший, лежит.

* * *

Пушка спит на пьедестале,
 смотрит дуло сквозь кусты.
 К оружейной старой стали
 прилагаются цветы.
 Мне четыре. Лезу, лезу
 по резине колеса,
 по нагретому железу
 к тополям под небеса.
 Кажется, что дымом пахнет.
 Бабушка, смотри сюда!
 Ведь она ещё бабахнет?
 — Я надеюсь, никогда.

* * *

Г.В.Нестеровой

Бабушка ворчала: всё про любовь!
 Про войну и Сталина напиши,
 как в боях за родину лили кровь,
 как сурепку ели и камыши,
 как до бурой юшки из-под ногтей
 разбирали церковь по кирпичам,
 как рожали в поле своих детей
 и они не плакали по ночам.
 Как сидел на лавке дедуля твой
 и, отставив наискосок протез,

вспоминал налёт, и моторный вой,
 и глаза санитарки, и красный крест.
 Напиши, как работали на износ,
 как стояла беременной за станком,
 тридцать восемь градусов был мороз.
 Четверых родила я мирком-ладком,
 а сынок-то помер; кричит свекровь,
 по щекам его хлещет: дыши, дыши!
 В общем ты пиши про свою любовь,
 про войну и Сталина не пиши.